

В. А. Туниманов

«ОБЛОМОВЩИНА» И «ШИГАЛЕВЩИНА»

Оба понятия — «обломовщина» и «шигалевщина» — родились в России 50–70-х гг. 19 в. и тогда же перешли из литературы в политику, социологию, философию, историю, психологию. Они возникли в недрах двух знаменитых русских романов, до чрезвычайности непохожих друг на друга, к тому же еще и разведенных радикальной, либеральной и народнической критикой по разным сторонам общественных баррикад, что, впрочем, не столь уж важно, точнее, имело некоторый смысл в глазах современников Гончарова и Достоевского и ближайших к ним поколений русских читателей. (На Западе эти публицистические оценки почти не воспринимались — сугубо домашнее русское дело). Главное, что оба понятия надолго и прочно обосновались в политико-идеологической сфере как комплексы негативных конструкций — застойно-косной и разрушительно-апокалиптической. Понятия одновременно противоположные (в некотором роде сниженная, переведенная в гротескный план оппозиция «энтропия — энергия») и связанные историческим и психологическим опытом, иногда даже воспринимающиеся как две стороны одной и той же «национальной» медали. Но непосредственно они не совпадают и не противостоят друг другу, сосуществуют в разных плоскостях, хотя и одновременно прикреплены исторически и географически (не очень жестко, но тем не менее, несомненно, прикреплены) к одному и тому же месту — к России, и притом к России глубинной, провинциальной — к затерянному в бесконечных равнинных просторах селу и губернскому городу с неприменной затхлоу, удушающей, «бесовской» атмосферой.

Оба понятия тесно связаны с фамилиями героев романа и произносятся экспромтом, «вдруг», в присутствии самих героев. Сразу же подчеркивается обобщающий символический и негативный смысл неологизмов. Реагируют, однако, герои Гончарова и Достоевского на такое вольное обращение с их фамилиями различно.

Слово «обломовщина», не без труда найденное Штольцем, буквально ошеломило мечтателя и «поэта жизни» Обломова, увидевшего в нем не иронию, не просто меткое суждение, а грозное предупреждение, клеймо и приговор. И далее в романе многократно обращается пристальное внимание на счастливо найденное слово, хотя лаконичного и четкого разъяснения его не дается даже в финале. Обломовщина, по художественному замыслу Гончарова, явление многоликое и многогранное. Понять и почувствовать, что это такое, можно только ознакомившись со всей историей

Обломова, и не в сокращенном, неизбежно упрощающем пересказе, а в пространном, замедленном, обстоятельном, изобилующем «фламандскими» и другими подробностями повествования.

«Обломовщина» — так собирался сначала назвать свой роман Гончаров, но художественное чутье заставило, видимо, его отказаться от этого намерения, хотя это слово и стало ключевым, объясняющим суть трагедии героя, но все же далеко не исчерпывающим его многосложный характер. Можно даже сказать, что Гончаров несколько понизил статус «ядовитого» слова и сильно скорректировал критические мотивы произведения, более всего очевидные в самой ранней, теснейшим образом связанной с эпохой 40-х гг. первой части романа. Однако статус символического слова был решительно повышен в знаменитой статье Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» Эта вдохновенно написанная статья с острыми и радикальными обобщениями главным образом и представляла собой свободные вариации на тему «обломовщины», в которой критик увидел «знамение времени», слово-разгадку. Как известно, далеко не все современники разделяли точку зрения Добролюбова. Критики славянофильской и почвеннической ориентации холодно отнеслись к самому роману, к тому, что они расценили как клевету на русскую историю, русскую жизнь, русского человека, а к статье критика «Современника» — просто откровенно враждебно. Характерно отрицательное отношение к «Сну Обломова», в котором их раздражала «неприятно резкая струя в отношении к тому, что все-таки выше штольцевщины и адуевщины»¹. Но, несмотря на целенаправленные усилия критиков, ни «штольцевщина», ни «адуевщина» не вошли в словари русского языка, не прижились в отличие от «обломовщины». Именно это слово часто употребляли литераторы и мыслители разных направлений и поколений, иногда — прямо или прикровенно — полемизируя со знаменитой статьей Добролюбова.

Как в 1860-е гг., так и позднее отношение к обломовщине в русском обществе отличалось весьма большим разнообразием — глубокие мысли об обломовщине и по поводу нее были высказаны, к примеру, в сочинениях А. В. Дружинина, Д. Н. Овсянко-Куликовского, В. В. Розанова. Тем не менее абсолютно справедлив вывод Н. Нарокова (псевд. Н. Марченко), писавшего, что «различные понимания Обломова и обломовщины не оказали должного влияния на общественное отношение к этому явлению. Широкие слои интеллигенции прошли как бы мимо отдельных высказываний. Но толкование Добролюбова приобрело чрезвычайную популярность и стало чуть ли не обязательным вплоть до наших дней»². Особенно же оно стало обязательным в советскую эпоху, когда статья Добролюбова вошла непременно «руководящим» указанием-приложением к роману Гончарова в школьные программы по русской литературе. Огромную роль сыграла в этом воспитательно-пропагандистском процессе оценка статьи Добролюбова Лениным, известная нам по воспоминаниям Н. Валентинова (псевд.

¹ Григорьев, Аполлон. Литературная критика. М., 1967. С. 329.

² Нароков Н. Оправдание Обломова // Новый журнал. 1960. № 59. С. 98.

Н. В. Вольского): «Из разбора Обломова он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе...». В речи Ленина 26 марта 1922 г. содержался призыв к выкорчевыванию обломовщины, переосмысленной в прямой связи с текущим политическим моментом, — предельно упрощенная и освобожденная от литературно-эстетических вопросов вариация на темы статьи критика-шестидесятника: «Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что **старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел.** На этот счет мы должны смотреть на свое положение без всяких иллюзий»³. Этими сравнительно добродушными указаниями революционера-практика дело не ограничилось. Выкорчевывание обломовщины вылилось в тотальное разрушение всего уклада жизни Обломовки-России, которое осуществлялось с беспрецедентной жестокостью и поистине большевистской последовательностью. Сносили Обломовку, аннигилировали или «перевоспитывали» Обломовых и Захаров (а заодно и Штольцев), на практике воплощая безумные идеи из «тетради» героя «Бесов» Шигалева. Наступил долгий период господства «шигалевщины» — и на «этот счет» приходится смотреть, действительно, «без всяких иллюзий».

Шигалев в отличие от Обломова второстепенный герой романа «Бесы» (другое дело, что все персонажи второго и даже третьего плана обрисованы Достоевским необыкновенно рельефно, ярко и с исключительным мастерством), но «шигалевщина» находится в самом фокусе произведения, что особенно отчетливо раскрывается в знаменитейшей главе «Иван-Царевич». Слово «шигалевщина» впервые произносит (в главе «У наших») Петр Верховенский с педалируемым пренебрежением: «...по-моему, все эти книги, Фурье, Кабеты, все эти „права на работу“, шигалевщина — всё это вроде романов, которых можно написать сто тысяч. Эстетическое препровождение времени» (10; 313). Сам Шигалев ограничивается кратким введением, давая общий очерк своей теории, состоящий из парадоксальных афоризмов, вызывающих смех «наших» («Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» — 10; 311). Шигалев к смеху равнодушен; он и словцо Верховенского оставляет без внимания. Шигалев — чистый теоретик и, при всем безумии, честный и независимый человек, Петра Верховенского он не боится и бесконечно его презирает. На слово болезненно реагирует адепт теории Шигалева — провинциальный хромой учитель, который и излагает некоторые идеи «фанатика человеколюбия». В сущности, однако, именно Петр Верховенский является самым горячим, даже фанатичным поклонником «шигалевщины». Он ведь «обезьяна» не только Николая Ставрогина, но и Шигалева, и, возможно, завидует этому «гениальному» мыслителю.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 13–14.

И — что необыкновенно важно — Верховенский переводит сухие формулы и логические рассуждения Шигалева на поэтический язык: горячечные фантазии, безумие «энтузиаста», утопическая мечта со сказочными персонажами. Упреки его Шигалеву в книжности и литературности, в «эстетическом препровождении времени» глубоко несправедливы; это как раз Петр Верховенский погружается в литературу, поэзию, мифологию, лихорадочно выкликая «заветное». Он поднимает книгу Шигалева на головокружительную фольклорно-поэтическую высоту, вышивает по ее канве поэму «Шигалевщина», с помощью которой готов ввергнуть в «отчаяние» всех — заговорщиков, администрацию, городских обывателей, Россию, а в далекой перспективе и весь мир.

Впрочем, в очень далекие времена «практик» Верховенский предпочитает не заглядывать, ограничиваясь зловещим словом «судорога», которая призвана упорядочивать отношения в будущем обществе послушных людей, в едином стаде с небольшим количеством привилегированных пастухов, бдительно следящих за любыми попытками вольнодумства и бунта, грозящими устоям идеально организованного общества. «Судорога» — это равно охранительный и кровавый принцип, регулирующий отношения в обществе, — несомненное свидетельство сомнения Верховенского в универсальности и несокрушимости созданной им на базе теории Шигалева идеальной модели общества. «Шигалевщина» — это такое устройство мира, которое невозможно без всемогущей тайной полиции, без постоянно нуждающегося в усовершенствовании репрессивного аппарата, «рай», немислимый без палей, стен, рвов, минных полей, колючей проволоки с током высокого напряжения, сторожевых собак и повсеместно внедренных агентов сыска, за которыми, к сожалению, также необходимо следить. И все-таки даже эти усиленные укрепительные и охранительные меры не дают твердой гарантии незыблемости сверхтоталитарного общества — отсюда и «судорога», периодически повторяющиеся кровавые встряски-чистки, ставшие кошмарной реальностью XX века.

Из литературного пространства русского романа 1870-х гг. шигалевщина (и ее практическое воплощение — «нечаевщина») переключалась в международное политическое пространство, став самым страшным и разрушительным явлением новейшей истории (самые крайние формы шигалевщины были реальностью в Германии времен фашизма, СССР 1920–1930-х гг., Китае периода так называемой «культурной революции»; к величайшему сожалению, нетрудно назвать и более близкие к нашему времени примеры).

«Шигалевщина» — вот слово, которое звучало в устах свидетелей Октябрьского большевистского переворота. О ней невольно вспомнил арестованный Александр Блок в камере на Гороховой: «„Шигалевщина бродит в умах“, — заметил Блок, когда разговор оборвался. И он на память процитировал Петра Верховенского: „Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза.

Шекспир побивается камнями“...»⁴. Неоднократно обращался к тексту романа «Бесы» в своей публицистике и И. А. Бунин, что необыкновенно показательно, принимая во внимание его крайнюю нерасположенность к Достоевскому. Он цитирует и пересказывает монологи Петра Верховенского в заметке «О Добровольческой армии»: «„Затуманится Русь, заплачет по старым богам“, — пророчествует Шигалев в „Бесах“ Достоевского, кончая свою странную речь о том „цинизме“, о том „разврате неслыханном“, которым он надеялся отравить, одурманить русский народ. Надежды его сбылись полностью, только в мере, даже им самим непредвиденной. Но остается в силе и конец его мечтаний и пророчеств: „заплачет Русь по старым богам“...»⁵ — и в статье «К 3-летию большевизма»: «„Сила“ сама шла и все идет и идет в руки этому отродью Шигалевых, — помните „Бесов?“ — говоривших про себя: „Надо разврата, разврата неслыханного... надо народу свеженькой кровушки... Мы мошенники, а не социалисты... Мы пустим цинизм, мы пустим пожары, легенды... Нам каждая шелудивая кучка пригодится... Безграничную свободу мы заключим безграничным деспотизмом... Раскачка такая пойдет, что мир ахнет... Затуманится Русь, заплачет по старым богам“...»⁶. Как А. Блок, так и И. А. Бунин восприняли шигалевщину главным образом в поэтическом, эмоциональном, кликушеском изложении Петра Верховенского, который бредит вслух — безумная фантазия на «теоретические» тезисы пространного трактата Шигалева, состоящего из десяти глав и весьма далекого от поэзии и мифотворчества. Собственно, Верховенский является соавтором книги Шигалева, вдохнувшим в эту скучную материю «жизнь».

Шигалевщина предполагает перевоспитание поколений, а следственно, как точно выразился В. Розанов, укорачивание и упрощение иррациональной и капризной человеческой природы, «*понижение психического уровня*» в человеке: «Погасить в нем все неопределенное, тревожное, мучительное, упростить его природу до ясности коротких желаний, понудить его *в меру* знать, *в меру* чувствовать, *в меру* желать — вот средство удовлетворить его наконец и успокоить...»⁷. Упрощение помогает всех и все уравнивать, ведь главное в шигалевщине — это равенство: «Всё к одному знаменателю, полное равенство» (10; 323). Претворение этого центрального пункта в большевистской России бросалось в глаза наиболее проницательным и независимым западным путешественникам. Вот острые и грустные наблюдения Бертрана Рассела (запись в дневнике, сделанная в Петрограде 13 мая 1920 г.): «Я попал в странный мир, мир умирающей красоты и тяжелой жизни. Меня все время тревожат фундаментальные вопросы, страшные, неразрешимые вопросы, которые никогда не задают себе мудрые люди. Пустые дворцы и переполненные столовые, разрушенное или мумифици-

⁴ Каверин В. Эпилог. Мемуары. М., 1997. С. 27.

⁵ Южное слово. 1919. № 26. 22 сентября (5 октября).

⁶ Общее Дело. 1920. № 115. 7 ноября.

⁷ Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария // Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 141.

рованное в музеях былое великолепие и наряду с этим — расплзающаяся по городу <...> самоуверенная американизация. Все систематизируется; все должно быть организовано и справедливо распределено. Одно и то же образование для всех, одно и то же жилье, одни и те же книги и одна на всех вера в то, что происходящее совершенно: для зависти нет места, разве что к счастливым жертвам несправедливости, живущим за границей»⁸. Фундаментальные, страшные, неразрешимые вопросы, тревожившие английского философа–позитивиста, сродни тем, которые мучили Достоевского, а мир, им увиденный, вне всякого сомнения, мир победившей шигалевщины, пусть и в самом мягком варианте.

В книге Альбера Камю «Бунтующий человек» есть и небольшая главка «Шигалевщина». Камю исследует феномен вырождения идеи великого бунта, который в шигалевщине–нечаевщине вступает в фазу циничного и тотального террора: «Здесь завершается диалектический виток — и бунт, оторванный от своих истинных корней, подчинившийся истории и потому предавший человека, стремится теперь поработить весь мир. Тогда начинается предсказанная в „Бесах“ эпоха шигалевщины, восхваляемая нигилистом Верховенским, защитником права на бесчестье <...> Свои идеи он позаимствовал у „филантропа“ Шигалева, для которого любовь к людям служит оправданием их порабощения»⁹. Камю считает, что в шигалевщине «предвосхищены тоталитарные теократии XX века с их государственным террором». Наступила скучная и безрадостная эпоха шигалевщины: «Ни рабство, ни владычество отныне не тождественны счастью; владыки угрюмы, рабы унылы». Свершилось неотвратимое: «обожествивший себя человек выходит за пределы, в которых держал его бунт, и неудержимо устремляется по грязному пути террора, с которого история так до сих пор и не свернула»¹⁰.

В шигалевщине в редуцированном, искаженном (даже извращенном) виде ощутима связь с романтическим бунтом, романтическим богоборчеством, о чем писал в упомянутой книге Камю: «Новые сеньоры и великие инквизиторы, использовав бунт угнетенных, воцарились над частью нашей истории. Их власть жестока, но они, как романтический Сатана, оправдывают свою жестокость тем, что эта власть не всякому по плечу. „Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина“»¹¹. Но эти романтические мотивы буквально тонут в море других, цинично–кровавых и провокационных, составляющих истинную суть шигалевщины. Гораздо очевиднее связь с романтическим бунтом и демонологией русского нигилизма в его «чистом», идеальном варианте 60-х гг. (Базаров, прототипом которого отчасти был Добролюбов, и Рахметов), о чем интересно писал Г. П. Федотов в статье «Трагедия интеллигенции»: «...конечно, демоны шестидесятников не одни „мелкие бесы“ разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже.

⁸ Рассел Б. Автобиография // Иностранная литература. 2000. № 12. С. 196.

⁹ Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 253.

¹⁰ Там же. С. 254.

¹¹ Там же. С. 253.

Презрение к людям — и готовность отдать за них жизнь; маска цинизма — и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомерная — сродни Ивану Карамазову, упоение своим разумом и волей — разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни — таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания, в которую нам не мешает вглядываться пристальнее: в ней ключ к бескорыстному героическому большевизму „старой гвардии“»¹².

Эти и некоторые другие, «недемонические» (принципиальная антиэстетичность, вульгарно-физиологичный взгляд на человеческую природу) элементы получили название («кличку») «базаровщина», с которой П. В. Анненков, один из влиятельнейших критиков середины 19 в., сравнивал «обломовщину»: «Слова — „обломовщина“ и „базаровщина“ — выражают одно и то же представление, одну и ту же идею, представленную талантливыми авторами с двух противоположных сторон. Это художественные антиномии»¹³. Сближение парадоксальное и с полемическим подтекстом. Но критик и проводит сопоставление в самом общем и одновременно особом смысле, подчеркивая идеологический характер сопоставления полярных типов-понятий: «Что такое знаменитейшие типы современной нашей литературы — Обломов и Базаров — как не понятия, сделавшиеся людьми под руками двух истинных художников. Эти понятия-типы несколько не стыдятся и не могут стыдиться своего происхождения от мышления. Напротив, они беспрестанно и открыто намекают сами об источнике своего существования»¹⁴. Однако даже сопоставление в таком общем плане произвольно и уязвимо. Особенно трудно согласиться с утверждением Анненкова, что «истинный родоначальник всех Базаровых есть Обломов, уже давно показанный нашему обществу»¹⁵. Менее всего в появлении на свет Базарова повинен Илья Ильич Обломов. А вот Шигалев и Петр Верховенский, пожалуй, в некоторых отношениях незаконные, испорченные, безумные дети Базарова, от которых он, видимо, отрекся бы. Впрочем, и те третировали бы его с той же бесцеремонностью, с какой Петруша обращается со своим отцом, либералом-идеалистом 40-х гг. И «шигалевщина», несущая смерть Обломовке и Обломову, есть гетерогенное и чудовищное производное от «базаровщины».

Другое дело, что некоторые элементы, которые включаются нередко в понятие «обломовщина»¹⁶, становятся почвой, питающей «шигалевщи-

¹² Федотов Г. П. Лицо России. Сборник статей (1918–1931). Paris, 1967. С. 103.

¹³ Анненков П. В. Русская беллетристика в 1863 году // Анненков П. В. Критические очерки. СПб., 2000. С. 264.

¹⁴ Там же. С. 261.

¹⁵ Там же. С. 264.

¹⁶ К примеру, те, которые перечислил Ключевский, отталкивавшийся не только от текста романа Гончарова, но, пожалуй, в большей степени от многочисленных исторических реалий: «нравственное сибаритство, бесплодие утопической мысли и бездельное тунеядство — вот наиболее характерные особенности <...> обломовщины. Каждая их них имеет свой источник, глубоко коренится в нашем прошлом и крупной струей входит в историческое течение нашей культуры» (Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 319).

ну» в те трагические минуты истории, когда бесовские идеи овладевают «массами», лишая их разума, лишая покоя и обломовских «пирогов». Жизнь превращается в нескончаемый кошмар, когда эти минуты растягиваются на десятилетия. И, по сути, в эпоху большевистской шигалевщины обломовщина трансформируется в фаталистическое мирозерцание с сильным апокалиптическим оттенком.

Однако утратившая безвозвратно покой обломовщина уже не обломовщина, а нечто гораздо более «ядовитое» и безнадежное. О старой «доброй» обломовщине в эпоху шигалевщины начинают рассуждать с благодушным ностальгическим оттенком; так, философ Н. Лосский, указывая на то, что Гончаров изобразил обломовщину «в той ее сущности, в которой она встречается не только у русского народа, но и во всем человечестве», полагает, что она «есть во многих случаях обратная сторона высоких свойств русского человека — стремления к полному совершенству и чуткости к недостаткам нашей действительности»¹⁷. Постепенно меняется отношение как к главному герою романа Гончарова, так и к обломовщине и к статье о ней Добролюбова. Перемена, произошедшая под сильным давлением новых политических обстоятельств, отчетливо выразилась уже в дневниковой записи Михаила Пришвина 1921 г.: «Никакая „положительная“ деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское „неделание“ <...> Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение *своего* существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом *для других*, может быть противопоставлена обломовскому покою»¹⁸.

Осмысление романа Гончарова в 20 (отчасти уже в 19) в. шло по пути неуклонного освобождения от гипноза идей статьи «Что такое обломовщина?» с большевистскими комментариями-разъяснениями, от обломовщины — к Обломову. В этом движении немалую роль сыграли мысли М. Бахтина об идиллии и идиллическом герое романа: «Изображение идиллии в Обломовке и затем идиллии на Выборгской стороне (с идиллической смертью Обломова) дано с полным реализмом. В то же время показана исключительная человечность идиллического человека Обломова и его „голубиная чистота“»¹⁹. О «голубиной чистоте» и «чистом, верном сердце» Обломова — этих свойствах его мягкой, хрустальной натуры по преимуществу будут размышлять и писать во второй половине и на исходе трагического, ознаменовавшегося невиданными разрушительными революциями и войнами двадцатого столетия. Обломов будет все чаще противопоставляться обществу, причем противопоставление будет носить не классовый (сословный), а вечный и глубинный, экзистенциальный характер.

¹⁷ Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 271.

¹⁸ Пришвин М. Незабудки. М., 1969. С. 233–234.

¹⁹ Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 383.

И это — органичная, естественная реакция на идеологические и политические «игры», отвращение к политике, достигшее, кажется, апогея в сегодняшней России. Вряд ли, думаю, такая «аполитичность» — признак усталости и фаталистического безразличия ко всему. Скорее, это признаки выздоровления общества, отворачивающегося от демагогии и стандартного пустословия. До чего все-таки надоел этот залежавшийся политизированный товар, из 19 века успешно перекочевавший в век 20 и все еще отягощающий, отравляющий наше сознание! До чего обрыдли все эти «базаровщины», «обломовщины», «нечаевщины», «карамазовщины»²⁰, бесконечные и непременные «-щины» и «-измы» — ярлыки и приговоры общественного трибунала, легко слетающие с языка, что без костей, — обличающие, уничтожающие, гнетущие. Не просто словесные штампы, а язвы сознания и души. То, что звучало свежо и имело прогрессивный и нравственный смысл во времена Добролюбова, Гончарова, Достоевского, Тургенева, выдохлось в нечто бесцветное и тошнотворное.

Небольшой злободневной иллюстрацией к сказанному и завершу этот этюд по поводу двух формул-понятий. С большим недоумением прочел я сравнительно недавно статью поэта и литературоведа И. Волгина «Разгадка Путина» (рубрика «Письма из Переделкино»; должно быть, будет публицистический цикл)²¹. Автор статьи необыкновенно лихо расправляется с теми, кто покинул Олимп власти: «Космополитическая маниловщина Горбачева (не путать со всемирной отзывчивостью!) и антикоммунистическая ноздревщина Ельцина повели к тому, что страна, не пережившая военного поражения, лишилась трети территории, практически всех союзников и максимально безопасных границ». В отличие от небрежно прикрепленных к позорному столбу «харизматиков» нынешний президент «вменяем» (курсив Волгина), (он «нормальный человек» (вновь курсив Волгина), правда, оказавшийся на высшем государственном месте в далеко не нормальной стране. Отсюда и драма «нормального человека», которому «бессовестно кадят льнущие к любой власти „мастера культуры“». Поэт, литературовед, политический публицист Волгин, разумеется, не из таких — не из кадящих и не из льнущих. Он *нормальный* независимый мыслитель, пекущийся только о благе нации, униженной «харизматиками». Какая, однако, ... хлестаковщина с примесью смердяковщины. Вот сам туда же... чертовщина какая-то. Нет, положительно надо кардинально обновлять словарь русских понятий.

²⁰ Как статьи Горького, так и бесконечные отклики на них, в том числе и такой «символистский»: «Хорошо сделал Горький, что начал или, вернее, возобновил спор с Достоевским о русской общественности. В Достоевском воплотилась вечная метафизическая сила русской реакции, сила сопротивления старого порядка новому. Не сломив этой силы, не преодолев Достоевского и *достоевщины*, нельзя идти к будущему» (Мережковский Д. С. Было и будет: Дневник. 1910–1914. Пг., 1915. С. 281–282).

²¹ Лит. газета. 2001. 4–10 июля. № 27.